

> МАГИСТРАЛЬ >

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

На дне



Москва

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6-я44
Г71

Художественное оформление серии
Натальи Портяной

Горький, Максим.
Г71 На дне / Максим Горький. — Москва : Эксмо,
2026. — 416 с. — (Магистраль. Главный тренд).

ISBN 978-5-04-215993-0

Прошло больше ста лет со времени создания Максимом Горьким (1868–1936) пьесы «На дне», а герои ее не исчезли и по-прежнему узнаваемы: бездомные, воры, проститутки — отвергнутые обществом люди «дна» — как будто переместились во времени, не утратив своих проблем, из горьковского притона на улицы современного мегаполиса. И столь же актуальным остался вопрос о необходимости выбора своей позиции: «Человек — это звучит гордо!» или «Человека жалеть нужно»? Что выбрать — ложь во спасение или горькую правду?

В книгу также включены пьесы «Мещане» и «Васса Железнова», рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», поэмы в прозе «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике».

Произведения предварают статья Владислава Ходасевича о Горьком.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6-я44

ISBN 978-5-04-215993-0

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026

Я помню отчетливо первые книги Горького, помню обывательские толки о новоявленном писателе-босьяке. Я был на одном из первых представлений «На дне» и однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное «Песнью о Соколе». Но все это относится к поре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на Капри и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал все и интересовался всеми. Однако долгие годы меж нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был так же чужд.

В 1916 году в Москву приехал Корней Чуковский. Он сказал мне, что возникшее в Петербурге издательство «Парус» собирается выпускать детские книги, и спросил, не знаю ли я молодых художников, которым можно заказать иллюстрации. Я назвал двух-трех москвичей и дал адрес моей племянницы, жившей в Петербурге. Ее пригласили в «Парус», там она познакомилась с Горьким и вскоре сделалась

своим человеком в его шумном, всегда многолюдном доме.

Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная литература», меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской.

В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленных домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая лампа. Каждый вечер к ней собирались люди. Приходили А. Н. Тихонов и З. И. Гржебин, воровавшие делами «Всемирной литературы». Приезжал Шаляпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин — во фраке, с какого-то «дипломатического» обеда, хотя я не представляю себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Федоровна Андреева со своим секретарем П. П. Крючковым. Появлялась жена одного из членов императорской фамилии — сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры. Большой портрет Горького — работа моей племянницы — стоял в комнате больного. У него попросили разрешения меня ввести. Он протянул мне горячую руку.

Возле постели рычал и бился бульдог, завернутый в одеяло, чтобы он на меня не бросился.

В столовой шли речи о голоде, о гражданской войне. Барабана пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил: «Да, плохи, плохи дела», — и не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует. Впрочем, старался он обрывать эти разговоры. Тогда садились играть в лото и играли долго. Ненастною петербургскою ночью, под хлопанье дальних выстрелов, мы с племянницей возвращались к себе на Большую Монетную.

Вскоре после того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского союза писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького в число членов. Он тотчас согласился и подписал заявление, под которым, по уставу, должна была значиться рекомендация двух членов правления. Рекомендацию подписали Ю. К. Балтрушайтис и я. Эта забавная бумага, вероятно, найдется в архиве Союза, если он сохранился.

Летом 1920 года со мной случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Нескольких врачей расстреляли, а все, кто был ими освобожден, подверглись переосвидетельствованию. Я очутился в числе этих несчастных, которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй, от страха не глядя уже ни на что. Мне было дано два дня сроку, после чего предстояло прямо из санатория отправляться во Псков, а оттуда на фронт.

Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез

в Кремль. Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Прощаясь со мной, Горький сказал:

— Перебирайтесь-ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать.

Я послушался его совета и в середине ноября переселился в Петербург. К этому времени горьковская квартира оказалась густо заселена. В ней жила новая секретарша Горького Мария Игнатьевна Бенкендорф (впоследствии баронесса Будберг); жила маленькая студентка-медичка, по прозвищу Молекула, славная девушка, сирота, дочь давнишних знакомых Горького; жил художник Иван Николаевич Ракицкий; наконец, жила моя племянница с мужем. Вот это последнее обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов.

С раннего утра до позднего вечера в квартире шла толчея. К каждому ее обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители — по делам Дома искусства, Дома литераторов, Дома ученых, «Всемирной литературы»; приходили литераторы и ученые, петербургские и приезжие; приходили рабочие и матросы — просить защиты от Зиновьева, всесильного комиссара Северной области; приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства,

жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных — словом, все, чего нельзя было достать без протекции. Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человеку в просьбе: это был клоун Дельвари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка. Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и наконец сказал:

— Обдумал я вашу просьбу. Глубочайше польщен, понимаете, но, к глубочайшему сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно.

И вдруг, махнув рукой, убежал из комнаты, от смущения не простившись.

Я жил далеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно и небезопасно — грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать — мне стелили в столовой на оттоманке. Поздним вечером суета стихала. Наступал час семейного чаепития. Я становился для Горького слушателем тех его воспоминаний, которые он так любил и которые всегда пускал в ход, когда хотел «шармировать» нового человека. Впоследствии я узнал, что число этих рассказов было довольно ограничено и что, имея всю видимость импровизации, повторялись они слово в слово из года в год. Мне не раз попадались на глаза очерки людей, случайно побывавших у Горького, и я всякий раз смеялся, когда доходил до стереотипной фразы: «Неожиданно мысль Алексея Максимовича обращается к прошлому, и он невольно

отдается во власть воспоминаний». Как бы то ни было, эти ложные импровизации были сделаны превосходно. Я слушал их с наслаждением, не понимая, почему остальные слушатели друг другу подмигивают и один за другим исчезают по своим комнатам. Впоследствии — каюсь — я сам поступал точно так же, но в те времена мне были приятны ночные часы, когда мы оставались с Горьким вдвоем у остывшего самовара. В эти часы постепенно мы сблизились.

Отношения Горького с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких. Зато и у Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попок с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весной 1921 года. Присутствовали Лашевич, Ионов, Зорин. В конце ужина с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек в ловко сидевшей на нем гимнастерке. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это был Бакаев.

Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии сыгравшая важную роль и в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 года Горький был принужден покинуть не только Петербург, но и советскую Россию. Он уехал в Германию. В июле 1922 года обстоятельства личной жизни привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький

городок Saagow, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 года я и сам перебрался в тот же санаторий. Сааровская жизнь оборвалась летом, когда Горький с семьей переехал под Фрейбург. Я думаю, что тут были кое-какие политические причины, но официально все объяснялось болезнью Горького.

Мы расстались. Осенью я ездил на несколько дней во Фрейбург, а затем, в ноябре, уехал в Прагу. Спустя несколько времени туда приехал и Горький, поселившийся в отеле «Беранек», где жил и я. Однако обоих нас влекло захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 года, и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля — в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец в начале октября мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С того дня я Горького уже не видал.

Таким образом, мое с ним знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одной кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основание думать, что хорошо знал его и довольно много знаю о нем. Всего, что мне сохранила память, я не берусь изложить сейчас, потому что это заняло бы слишком много места и потому что мне пришлось бы слишком близко коснуться неко-

торых лиц, ныне здравствующих. Последнее обстоятельство заставляет меня, между прочим, почти не касаться важной стороны в жизни Горького: я имею в виду всю область его политических взглядов, отношений и поступков. Говорить все, что знаю и думаю, я сейчас не могу, а говорить недомолвками не стоит. Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые кажутся мне бесполезными для понимания личности Горького. Я даже решаюсь полагать, что эти наблюдения пригодятся и для понимания той стороны его жизни и деятельности, которой в данную минуту я не намерен касаться.

* * *

Большая часть моего общения с Горьким протекала в обстановке почти деревенской, когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек.

День его начинался рано: он вставал часов в восемь утра и, проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу — часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей

бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек — стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков — красных, желтых, зеленых. Курил он много.

Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и расставлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял в них все опечатки. Случалось — он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал.

Часов в семь бывал ужин, а затем — чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты: либо в 501 (говоря словами Державина, «по грошу в долг и без отдачи»), либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или чаще отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмо и робко спрашивал:

— Позвольте, а что были козыри?

Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но, может быть, именно по этой причине бридж он

любил больше всего. Другое дело — партнеры его: они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось наконец установить бриджевую повинность: играли по очереди.

Около полуночи он уходил к себе и либо сам писал, облачаясь в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по-больничному. Спал он мало и за работою проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил и имел на то право.

На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, вскидывал он плечами и удивлялся:

— Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в «Вестнике Европы» за 1887 год, в октябрьской книжке.

Каждой научной статье он верил свято, зато к беллетристике относился с недоверием и всех беллетристов подозревал в искажении действительности. Смотря на литературу отчасти как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость, когда усматривал погрешность против бытовых фактов. Получив трехтомный роман Наживина о Распутине, вооружился карандашом и засел за чтение. Я над ним подтрунивал, но он честно трудился три дня. Наконец объявил, что книга мерзкая. В чем дело? Оказывается, у Наживина герои романа, живя в Нижнем Новгороде, отправляются обедать на пароход, пришедший из

Астрахани. Я сначала не понял, что его возмутило, и сказал, что мне самому случалось обедать на волжских пароходах, стоящих у пристани. «Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса! — закричал он. — После рейса буфет не работает! Такие вещи знать надо!»

Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад, и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то все же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как думала публика. В общем он был бодр, крепок — недаром и прожил до шестидесяти восьми лет. Легендою о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неугодных посетителей. Но дома, перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно. Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы — он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей.